



**Н. К.
МИХАЙЛОВСКИЙ**



Николай Михайловский

Герой безвременья

«Public Domain»

1891

Михайловский Н. К.

Герой безвременья / Н. К. Михайловский — «Public Domain», 1891

ISBN 978-5-457-05002-0

О Лермонтове.

ISBN 978-5-457-05002-0

© Михайловский Н. К., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

I	5
II	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Николай Константинович Михайловский

Герой безвременья

I

1814 года октября 2-го, «в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым. Крещен того же октября 11-го дня. Восприемником был господин коллежский ассессор Фома Васильевич Хотяинцев, восприемницей была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева».

Так значится в метрической книге церкви Трех Святителей, что у Красных ворот, в Москве. Справка эта была опубликована лишь в 1873 году Розановым в «Русской старине»^[1]. До тех же пор и год, и число месяца, и даже место рождения Лермонтова показывались в разных биографиях различно. Да и после приведенной справки разноречивость показаний не совсем исчезла, так что еще в 1891 году в одной провинциальной газете был поставлен «открытый вопрос нашим библиографам»: когда родился М. Ю. Лермонтов? Это характерно для скудости, сбивчивости и малоизвестности биографических сведений о Лермонтове вообще. За последнее время, впрочем, в наших исторических, а частью и общих журналах, вместе со многими неизданными стихотворениями Лермонтова, появилось довольно много отрывочных биографических данных. Уясняя ту или другую фактическую подробность из жизни поэта, данные эти, однако, мало прибавляют к общим и коренным чертам его духовной физиономии, и в этом отношении главный источник биографии поэта составляет его собственная поэзия. Поэт в высшей степени субъективный, лишь очень редко, хотя и блистательно выступавший в роли созерцателя, Лермонтов на все свои произведения клал резкую печать своей индивидуальности, вносил всюду самого себя, свою личность, не хотел или не мог от нее отделиться. Весь процесс его духовного роста, все даже мимолетные его настроения отражались в его поэзии. Еще Боденштедт^[2] заметил: «Важнейшее изображение личности Лермонтова все-таки останется нам в его произведениях». Нельзя, однако, вполне согласиться с теми мотивами, которыми немецкий переводчик нашего поэта поддерживает свою очень верную мысль. Он думает, что в своих произведениях Лермонтов «выказывается вполне таким, каким был, тогда как в жизни он был лишь тем, чем хотел казаться». Это и верно, и неверно. Нисколько не сомневаясь в искренности лермонтовской поэзии, признавая ее высокую биографическую ценность, надо все-таки с большою осторожностью черпать из нее биографический материал, именно потому, что в ней отражались даже мимолетные его настроения.

Лермонтов стал поэтом очень рано, тринадцати-четырнадцати лет. Но еще раньше он проявляет свои художественные наклонности в других формах. А. П. Шангирей, вспоминая раннее детство поэта, пишет: «Мишель был мастер делать из талого снега человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями и искусством; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воска целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего пришлось нам видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявление же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время; все сочинения по заказу Сапет (учителя) он писал прозой и нисколько не лучше своих товарищей» («Русское обозрение». 1890. № 8). С течением

времени зачаточные таланты живописца и скульптора не то что исчезли – рисовать Лермонтов продолжал (не чужд он был и музыки), – а, так сказать, обогатили собою талант поэта, придав его описаниям необыкновенную яркость и выпуклость. Восхищаясь пейзажами в поэзии Лермонтова, гр. Ростопчина справедливо замечает^[3]: «он, сам хороший пейзажист, дополнял поэта живописцем» («Русская старина». 1882. № 9). Белинский говорит^[4], между прочим, о «Трех пальмах»: «Пластичизм и рельефность образов, выпуклость форм и яркий блеск восточных красок сливаются в этой пьесе поэзию с живописью; это картина Брюллова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее». Но прежде чем изобразить предмет, положение, сцену, надо этот предмет или сцену вообразить. И к необыкновенной изобразительной способности Лермонтова, в которой так счастливо и чудно сплелись разнородные таланты, баловница природа прибавила еще дар могучего воображения и быстрой мысли.

В одном детском стихотворении^[5] (1828) Лермонтов писал:

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу...

Лермонтов был именно таков. Он сам подсмеивался над своею «страстью повсюду оставлять следы своего существования»^[6] – писал в особых тетрадах, на клочках бумаги, на стенах. Существует, однако, мнение – немногими, впрочем, кажется, разделяемое, – что он писал трудно. «Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает^[7]; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадает тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разных пьесах» (гр. Ростопчина). Последнее совершенно справедливо: Лермонтов без всякой церемонии переносит строфы и целые ряды строф из одного своего произведения в другое и нередко возвращался к темам или даже прямо стихам, уже эксплуатированным раньше. Но в большинстве случаев это отнюдь не результат колебания или неопределенности первоначальной мысли, которые можно заметить лишь в очень немногих, больших произведениях, главным образом в «Демоне». К счастью, мы знаем, по рассказам современников, как были написаны по крайней мере некоторые стихотворения Лермонтова. Знаем, например, как создавалась «Ветка Палестины». Ожидая себе грозы за стихотворение на смерть Пушкина, Лермонтов зашел к А. Н. Муравьеву^[8] поговорить по этому делу и не застал его. Дожидаюсь, он увидел привезенные Муравьевым из Палестины пальмовые ветви и тут же, на клочке бумаги, написал стихотворение, помещаемое ныне во всех хрестоматиях. Сидя по тому же делу под арестом, Лермонтов велел приносимую ему провизию завертывать в серую бумагу и на этих клочках «с помощью вина, печной сажки и спички» написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, мать Божия, ныне с молитвою», «Кто бы ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко». По свидетельству Хвостовой^[9] и других, так же быстро и цельно выливались у Лермонтова стихи и в ранней юности. Это гарантирует их искренность. Поэт, долго обдумывающий и отделяющий свои произведения, может быть, конечно, вполне искренен, но может также настолько отделиться от своего первоначального впечатления или настроения, что передача их уже утратит свою свежесть, явится перед нами с поправками позднейшего анализа. Поэт, может быть, сам не в состоянии будет по совести сказать, так ли он воспринял известное явление, известный момент жизни, как они выразились в его стихах. Не то у Лермонтова: каждое его стихотворение представляет собою, так сказать, фотографию его душевного состояния в данную минуту. Но беда в

том, что подобная моментальная фотография может захватить и такие мимолетные душевные состояния, которые вовсе не характерны. Мало ли что пробегает в голове человека, в особенности человека молодого, неустановившегося, а ведь Лермонтов, начав писать стихи тринадцати-четырнадцати лет, и всего-то двадцати семи лет не прожил. За десяток с небольшим годов его творческой деятельности, в ней можно найти немало противоречий, притом таких, которые зависят не оттого, что молодое растет, старое старится и с течением времени и само себя отрицает, не от определенного, правильного роста, а от чисто случайных причин. Грациознейшая в мире женщина может случайно принять очень неграциозную позу, и если моментальная фотография фиксирует ее в этой позе, то это не будет ложь, но не будет и правда в смысле общей характеристики. Если умнейший человек будет записывать все, что промелькнет в его мозгу в течение хотя бы одного дня, в его записях наверное окажется немало глупостей, но это не мешает ему быть умным человеком. Если впечатлительный поэт фиксирует свои даже мимолетные настроения на бумаге, если он вдобавок, как Лермонтов, обладает пылкой и яркою фантазией, которая расцветает не только пережитое, а и воображаемое, то критика должна очень старательно отличать здесь временное и случайное от постоянного и характерного. Несмотря, однако, на вытекающие отсюда трудности, мне по крайней мере представляется совершенно невозможным даже внешним образом отделить фактическую биографию Лермонтова от его поэтического наследия – они слишком переплетаются, поясняя и дополняя друг друга.

Предок русской фамилии Лермонтовых – Юрий Лермонт вышел из Шотландии сначала в Польшу, а потом, в 1633 году, в Московское государство, где и получил вотчины в Галицком уезде. В числе шотландских предков Лермонтова не безынтересно отметить полулегендарного поэта-пророка XIII века Томаса Лермонта, которым очень интересовался Вальтер Скотт. Предание приписывает этому Томасу Лермонту необыкновенные, сверхъестественные дарования: в юности он пробыл семь лет в царстве фей, где получил дары поэтического творчества и прорицания и куда под конец жизни должен был опять вернуться при чрезвычайно поэтической обстановке. На этот сюжет Вальтер Скотт написал балладу^[10]. Мы имеем свидетельства, что Лермонтов очень рано познакомился с поэтическими произведениями Вальтера Скотта, но упомянутой баллады, равно как и положенной в ее основание легенды, очевидно, не знал. Иначе величаво-таинственный образ Томаса Лермонта, конечно, вдохновил бы его. В юности Лермонтов, по-видимому, разделял заблуждение, существующее и до сих пор в некоторых ветвях фамилии Лермонтовых, что они происходят от герцога Лермы, бежавшего в Шотландию. Под некоторыми письмами он подписывался М. Lerma и рисовал сначала на стене углем, а потом на полотне масляными красками поясной портрет человека в средневековом испанском костюме, с цепью ордена Золотого Руна на шее – может быть, это был предполагаемый испанский предок. Но это еще вопрос, а что Лермонтов, по крайней мере временами, интересовался в юности именно своим шотландским происхождением, тому есть доказательства в его поэтическом наследии. К 1830 году относится стихотворение «Гроб Оссиана», к 1831 году – стихотворение «Зачем я не птица, не ворон степной». Здесь говорится о «горах Шотландии моей», о желании «задеть струну шотландской арфы», о замке предков, о висящих на древней стене «наследственным щите и заржавленном мече» и проч. Второе из названных стихотворений кончается так:

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой...
О, зачем я не ворон степной!

На самом деле очень сомнительно, чтобы в Лермонтове сохранилось хоть что-нибудь шотландское по крови, наверное, ничего не было специально шотландского по духу, и русские снега, среди которых он будто бы «увядал» в шестнадцать лет, отнюдь не были ему чужды в каком бы то ни было отношении. Упомянутые стихотворения интересны, однако, как свидетельство рано сказавшейся мечтательности и силы фантазии, хватающей за каждый намек, чтобы начать свою красивую работу. На подлиннике стихотворения «Гроб Оссиана» сделана заметка: «узнал от путешественника описание сей могилы». Случайного рассказа какого-то путешественника, в связи с какими-нибудь столь же случайными разговорами о шотландских предках, достаточно было, чтобы пылкая фантазия заработала на подsunутую ей случаем тему, чтобы Шотландия стала отчизной, а Россия чужбиной. Но затем фантастическая шотландская отчизна уже ни разу более не появляется в стихах Лермонтова, да и в том же 1831 году, к которому относится стихотворение «Зачем я не птица, не ворон степной», Лермонтов писал:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник, —
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Спрашивается, какое же биографическое значение могут иметь две вспышки шотландского патриотизма? Никакого, кроме свидетельства, что юный Лермонтов умел совершенно проникнуться положением воображаемого «последнего потомка отважных бойцов» Шотландии, перед которым отчетливо рисуются замок предков, их щиты и мечи. Необыкновенная отчетливость всей этой созданной воображением картины так сильно действует на поэта, что он в ту минуту искренно видит в себе «последнего потомка»: он подавлен своим собственным могучим воображением. А между тем толчок всей этой работе дан чистою случайностью. В ранней молодости, когда мысль еще не направлена жизнью в какое-нибудь определенное русло, подобных случайных толчков должно было, конечно, быть особенно много. Поэтому-то о ранних произведениях Лермонтова так часто и слышатся суровые приговоры не только относительно формы, но и относительно содержания. Заподозреваются именно их искренность.

Приведя послесловие к одному из набросков «Демона», Дудышкин говорит: «Человек, который *по шестнадцатому году* (курсив Дудышкина) писал такие стихи о себе, конечно, не мог писать их иначе, как вследствие подражательности. Чтобы видеть в мире одну несправедливость, всякое отсутствие гармонии и потом перенести эту дисгармонию сначала на душу человека, а потом на все общество; сделать из этой идеи — идеал, наконец, этот идеал облечь прелестью презрения ко всему... согласитесь, что до этого сознания Лермонтов не мог достигнуть, будучи 14 лет, а все это уже видно в первом очерке „Демона“» («Ученические тетради Лермонтова» // «Отечественные записки». 1859. № 7).

А. П. Шангирей, хорошо знавший поэта, пишет в цитированной выше статье: «Вообще большая часть произведений Лермонтова с 1829 по 1833 г. носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостью своего остроумия и склонностью к эпиграммам; часто посещал театры, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность?» Шангирей думает^[11], что все это было делом лишь моды и подражания Байрону.

Можно бы было привести и еще подобные же отзывы. Но для нас особенно любопытны показания Шангирея, товарища детства Лермонтова и очевидца его развития. Это ведь, уж кажется, сведущий человек. И однако этот сведущий человек решается утверждать, что «особенно чувствительных утрат Лермонтов не терпел», тогда как мы знаем, что он потерял мать по третьему году и отца, будучи уже юношей, способным чувствовать и понимать, как не всякий взрослый. Мы знаем далее, что семейная обстановка, в которой рос Лермонтов, отнюдь не из одних розовых лепестков и лебяжьего пуха состояла, хотя бабушка в нем действительно души не чаяла. Сначала между родителями поэта, а потом, после смерти матери, между отцом и бабкой его происходила какая-то затяжная и тяжелая драма. В чем она состояла, в точности неизвестно, да, пожалуй, не любопытно. Важно только, что она была и тяжело отзывалась на ребенке, а эту тяжесть он, в свою очередь, передавал бумаге пером. В юношеской лирике Лермонтова^[12] бабушка не поминается, но мать и отец являются не один раз, и всегда с трагической стороны: «В младенческих летах я мать потерял», «Я сын страданья, мой отец не знал покоя по конец, в слезах угасла мать моя»; «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам на свете был гоним, ты в людях только зло изведаль»; «Ужасная судьба отца и сына – жить розно и в разлуке умереть... Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанною кончиной! Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец того, кто был всех мук твоих причиной! Но ты простишь мне... Я ль виновен в том, что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный, от самой колыбели горевший в ней, оправданный Творцом? Однако ж тщетны были их желанья: мы не нашли вражды один в другом, хоть оба стали жертвою страданья... Не мне судить, виновен ты иль нет, ты светом осужден... А что такое свет?»

В юношеских драмах мать не фигурирует, но зато является на сцену бабушка, и вместе с тем выясняются подробности и мотивы по крайней мере второй половины тяжелой семейной истории, очевидно глубоко волновавшей поэта. Первая половина этой истории – размолвка родителей – может быть, навсегда осталась не вполне ему ясной, как неясна она и для нас. Может быть, он и впоследствии узнал немногим больше того, что он потерял мать «в младенческих летах» и что она «в слезах угасла». Слышал он, вероятно, на этот счет разное и ни на чем определенном не остановился. Распря между отцом и бабушкой была ему гораздо более известна, потому что он мог уже сам и наблюдать, и оценивать. Более известна она и нам.

Мать Лермонтова умерла в феврале 1817 года. Умерла она в пензенском имении своей матери Елизаветы Алексеевны Арсеньевой – Тарханах, в присутствии своего мужа. Но вдовец пробыл в Тарханах после ее смерти только девять дней и уехал в другое имение, оставив трехлетнего сына на попечении бабушки, которая была вместе с тем и крестною матерью его. Вскоре, однако, вдовец потребовал сына к себе. Сохранилось письмо Сперанского^[13] от 5 июня того же 1817 года к брату Арсеньевой Аркадию Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Станный и, говорят, худой человек; таков по крайней мере должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление» («Русский архив». 1870 г. Стр. 1136). Об отце Лермонтова мы почти ничего достоверно не знаем, ни хорошего, ни худого, а аттестации Сперанского можем и не верить, так как она основана на «говорах» и вернее всего на показаниях бабки поэта, Е. А. Арсеньевой, в данном случае лицом заинтересованным и едва ли беспристрастным. Как бы то ни было, Арсеньева без ума любила своего внука и не хотела отдавать его отцу, из-за чего между ними происходили ссоры и пререкания. Предание, сообщаемое г. Висковатовым^[14], сохранило следующую любопытную подробность этой распри. Когда Юрий Петрович (отец Лермонтова) приезжал в Тарханы навестить сына, то тотчас же посылались на почтовых гонцы в

Саратовскую губернию за братом бабушки, Афанасием Столыпиным, «звать его на помощь для защиты, на случай отнятия» («Русская мысль». 1881 г. № 12). Черта эта, любопытная и сама по себе, становится еще интереснее ввиду того, что она целиком воспроизводится в юношеской драме Лермонтова «Menschen und Leidenschaften»¹:

Василий Михалыч. Когда должно твоему отцу приехать, здешние подлые соседки... получили посредством ханжества доверенность Марфы Ивановны; сказали ей, что он приехал отнять тебя у нее. и она поверила... Доходят же люди до такого сумасшествия!

Юрий. Отец... хотел отнять сына... отнять... разве он не имел полного права над мной, разве я не его собственность? Но нет, я вам снова говорю, вы смеетесь надо мною...

Василий Михалыч. Доказательство в истине моего рассказа есть то, что бабушка твоя тотчас послала курьера к Павлу Иванычу, и он на другой день прискакал.

Уже одно это частное совпадение ясно говорит об автобиографическом значении драмы «Menschen und Leidenschaften». Главный же узел этой драмы выражен в словах, с которыми ее юный герой, Юрий Волин, обращается к своему другу Заруцкому: «Ты знаешь, что у моей бабки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадет». Это живое реальное ядро драмы обставлено разными искусственными подробностями напыщенно романтического характера, и вообще вся драма представляет собою нечто совершенно детское. Но собственно положение молодого человека между двух огней, между бабкой и отцом, намечено хорошо и правдиво. Вообще все четыре известные нам юношеские драмы Лермонтова построены на мотивах семейных раздоров, хотя и не везде тех, какие он мог видеть около себя. Затем в той же драме «Menschen und Leidenschaften» очень неискусно выполнена, но живо и правдиво задумана самая фигура бабушки. Эту смесь ханжества, помещичьей жестокости и искренней любви к внуку пятнадцати-шестнадцати-летний мальчик не мог выдумать, как бы ни была могуча его фантазия, потому что в этой фигуре нет ничего фантастического; не мог и из книг вычитать, потому что таких книг не было. Списал ли он эту бабушку со своей собственной бабки, неизвестно, потому что с этой стороны мы не имеем об его бабке сведений. Роль Марфы Ивановны в семейной драме и некоторые внешние черты сходства (Марфа Ивановна ходит, опираясь на палку, – бабка поэта, по рассказам, тоже опиралась на палку) заставляют думать, что это так. Но она ли или кто другой послужил оригиналом для Марфы Ивановны, а из драмы видно, что юного поэта корбило от пощечин и плетей, раздаваемых крепостной дворне. Тот же мотив находит себе хотя опять-таки неискusное, но сильное выражение в драме «Станный человек» – в жалобах крестьян на зверскую жестокость помещицы.

Таким образом, детство Лермонтова прошло среди впечатлений, несомненно, тяжелых. Конечно, с иного они могли бы сойти, как с гуся вода, но в душе юного поэта они оставляли явственно болезненные следы. Отсюда мрачный характер даже его юношеской поэзии. От Галахова до г. Спасовича целый ряд писателей старался определить влияние на Лермонтова других поэтов, главным образом Байрона^[15]. Другой ряд критиков, от Боденштедта до г. Острогорского, не отрицая слишком очевидного влияния Байрона, находил, однако, что тон поэзии Лермонтова вполне объясним и без этого влияния^[16]. «В Лермонтове демонический элемент поэзии объясняется естественнее, нежели в Байроне», – говорит Боденштедт^[17]. И я думаю, что он прав. В поэзии Лермонтова, в особенности, конечно, ранней, юношеской, можно найти много напускного, навеянного со стороны какой-нибудь случайности. Образчиком может служить хоть бы тот же внезапный шотландский патриотизм, который

¹ «Люди и страсти» (нем.). – Ред.

как скоро пришел, так скоро и ушел. Но из этого следует только, что, устанавливая связь между личной жизнью Лермонтова и его произведениями, надо прежде всего определить наиболее постоянные и наиболее часто звучащие аккорды его поэзии.

II

Не надо быть последователем Карлейля^{18} с его культом «героев», чтобы признать факт существования людей, по самой природе своей призванных вести других за собой, стоять впереди других. Это, однако, отнюдь не непременно благодетели человечества (как думал Карлейль), или своей родины, или просто окружающих людей. Они могут быть и таковыми, но точно так же могут представлять собою исходные пункты огромных зол, потому что могут вести за собою толпу на злое дело и быть, по старинному образному выражению, настоящими «бичами Божиими». Став на эту точку зрения, мы должны допустить в прирожденных властных людях или героях возможность значительных умственных и нравственных изъянов: зло, ими распространяемое, очевидно, составляет результат либо ошибочного понимания, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственного недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственного. И действительно, история свидетельствует, что во главе того или иного движения, энергически воздействуя на своих современников, соотечественников, соплеменников, сотрудников, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокие, мелочно самолюбивые, развратные. Обращаясь к самому понятию героя как вожака, как первого в своем роде человека, которому безотчетно повинуются или за которым безотчетно следуют другие, мы увидим, что добродетели могут его и не украшать, они не составляют необходимой его принадлежности. Быть может, единственное нравственное качество, безусловно необходимое «герою», есть смелость. Но и то, это такое качество, которому не легко точно указать место в ряду добродетелей. Некоторые выдающиеся умственные качества – если не глубокий ум и широкий полет мысли, то по крайней мере быстрота соображения, известный такт в сношениях с людьми, известные таланты – по-видимому, обязательны для прирожденных властных людей. Не говоря, однако, о том, что обязательный минимум их умственных сил может быть, при известных условиях, вовсе незначителен, не трудно видеть, что центр тяжести «героя», во всяком случае, лежит не в области ума. Герой есть прежде всего представитель инициативы, человек почина, первого шага, энергической воли и мгновенной или постоянной решимости. Все остальное, как в его собственной личности, так и в характере предпринятого им дела, есть сцепление побочных обстоятельств: герой может быть ума гениального или посредственного, блистать добродетелями или грязнуть в пороках, равным образом и дело его может быть велико или ничтожно благотворно или вредоносно. Все это, разумеется, может иметь чрезвычайно важное значение с разных других точек зрения; но когда мы хотим выделить основные, типически необходимые черты героя, то на первом месте должна быть поставлена его роль человека, дерзающего совершить то, перед чем другие колеблются, и затем превращающего это колебание в покорность. У героя, с одной стороны, и у следующих за ним или повинующихся ему – с другой, должна быть некоторая общая почва, иначе невозможно было бы их взаимодействие; в состав этой общей почвы могут входить разнообразные умственные и нравственные элементы. Но затем есть нечто, резко отделяющее героя от толпы, резко выдвигающее его вперед. Это нечто состоит в том, что герой дерзает и владеет. Дерзать и владеть есть такая же специфическая внутренняя потребность героя, как потребность творчества в поэте или потребность философского обобщения в мыслителе. В какие бы условия ни был поставлен прирожденный властный человек, он, как паук паутину, бессознательно, инстинктивно плетет сеть для уловления и подчинения себе людских сердец – удачно или неудачно для себя лично, на благо или во вред другим.

Если мы будем искать в лермонтовской поэзии ее основной мотив, ту центральную ее точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и к которой прямо или косвенно сводятся если не все, то большинство его произведений, найдем ее в области героизма. С ранней

молодости, можно сказать, с детства и до самой смерти мысль и воображение Лермонтова были направлены на психологию прирожденного властного человека, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную. Следы этого преобладающего и всю поэзию Лермонтова окрашивающего интереса не так заметны в лирике, потому что сюда вторгаются разные мимолетные впечатления, которые, на мгновение всецело овладев поэтом, отступают потом назад, чтобы более уже не повторяться или даже уступить место совершенно противоположным настроениям. Мы уже видели образчик этой переменчивости настроений во внезапной вспышке шотландского патриотизма. Что же касается настоящего русского патриотизма Лермонтова, то достаточно сравнить стихотворения «Опять народные витии» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью»). Резкая разница между этими двумя стихотворениями естественно объясняется лежащим между ними десятилетним промежутком (1831 и 1841 гг.), в течение которого поэт вырос до неузнаваемости. Однако и в лирике, среди этих внезапных, быстро гаснущих вспышек и противоречий, объясняемых естественным ходом развития, вышеуказанный основной мотив дает себя знать постоянно, так что и здесь помимо него трудно подвести итоги лермонтовской поэзии. Но в поэмах, повестях и драмах дело, во всяком случае, яснее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.